

Дарья Судакова

## ЛУЧШИЙ ДРУГ ДЕТСТВА

Рассказы

**-Д**

авай купим хлеба и тоже покормим птиц, как вчерашний дедуля, которого мы видели на пристани? — предложил я и увидел тень, залегшую под твоими бровями.

— Хорошая идея. Мне нравится. Я, кстати, своего дедушку почти не знала и никогда не общалась с ним наедине, чтоб, понимаешь, взобраться на колени, прислониться виском к жилетке, пропахшей «Беломором», и слушать истории, разглядывая очки на бечевке, в которых от его глаз оставались лишь одни смешные зрачки.

Будто вспомнив о сигаретах, ты вытащила одну, как бы случайно ее выронила и, недолго думая, принялась эту несчастную затаптывать насмерть. Ты перевела дыхание, не дала себе и сигаретам второго шанса и продолжила.

— У нас ведь с ним дни рождения рядом. Совсем близко. Я всегда мысленно поздравляю его. И всегда в этот день мне немного грустно. Пахнет паяльником, газетами и электрически щекочет пальцы, постреливает, будто ведешь ими по выпуклой линзе старого телевизора, который он смотрел. Для меня это он.

Я сначала молчал. Потому что где-то в сердце сдавливало.

— Для меня дед — это клетчатая рубашка, заскорузлая такая. И сушеная рыба, которую он рвал мне на маленькие кусочки, так, посмаковать. Мама ругалась.

— А он когда умер?

— Я еще в школе учился.

— Понятно. Беден наш народ на дедушек.

Я взял тебя за руку. От нее тоже постреливало, щекотало кожу. Я сжал ладонь крепче — прошло. Но чем крепче я держал тебя за руку, тем сильнее сдавливало — сначала сердце, а потом гораздо выше, в горле. Так продолжалось, пока ты не переплела со мной свои пальцы.

— Я уже много лет не обманываю день рождения.

— Что ты имеешь в виду? — голос прозвучал сипло.

— Когда я была ребенком, я часто делала вид, будто мне все равно на день рождения, на Новый год. Чтобы они наступали быстрее. Понимаешь? Когда ждешь, время тянется бесконечно долго.

— Время так не умеет, но понимаю.

— Я больше так не делаю. — Ты поджала губы, несколько раз быстро моргнула и посмотрела наверх, мимо меня. — Я так не хочу, чтобы они наступали. Без утаек не хочу.

Я понимал. Дедушка-то у тебя давно не старел.

Мы были внуками людей, которые юно становились отцами, случались дедушками с еще густыми шевелюрами и несправедливо рано умирали. Я хорошо помнил любимую фотографию моего. На ней был молодой мужчина с чубом и распахнутой гармонью на коленях, а рядом я — на трехколесном велосипеде. Стал постарше — мы с дедом вместе катались. Помню, на летних каникулах мне больше всего нравилось время проводить на даче. На даче хорошо было. Мы до речки ездили рано-рано утром, когда звезды не успевали догореть. В последние годы дед сильно уставал, мы слезали с велосипедов и шли пешком, толкали их рядом.

Я сообразил, что такое любовь взаправду, когда дедушка умер: между ним и бабушкой я ее как будто никогда не замечал и рассуждал следующим образом: они живут друг с другом столько лет, потому что так *принято* — этому люди их поколения отдавали непомерное, на мой взгляд, значение, — потому что перед детьми своими обязаны, потому что удобно вместе, притерлись уже. Да что тут еще скажешь? Но когда деда не стало, бабушка стореда за неделю — и девяти дней не прошло. С той поры я нет-нет да коротал вечера, думая, сможет ли моя смерть кого-нибудь так же подкосить.

Дачу продали. Я тогда сразу почувствовал, что детство кончилось. И вместе с ним будто перестали зажигаться звезды, умолкли сверчки. Все началось снова лишь тогда, когда я оклемался — не сразу и не весь. Скорбь — дело такое: целиком от нее оправиться иной раз за всю жизнь не выходит. Да надо ли? Для меня это означало бы деда забыть. А я старался помнить все-все.

Например, как однажды мне было лет пять и я остался у них с бабушкой на ночевку. Они всегда спали в разных комнатах, поэтому я из мужской солидарности выбрал комнату деда. Несмотря на летнее время, мы тогда были в их маленькой интересной квартире (представьте, с окном в ванной!), было очень жарко, по-городскому душно, так что все окна были открыты настежь. С этажа, на котором жили бабушка с дедушкой, виднелись только кроны растущих рядом с домом деревьев, густо-зеленого цвета даже в темноте. Мы с дедом лежали на двух половинках разложенного дивана под тонкой простыней — и так заболтались, что не заметили, как весь потолок усеяли полчища комаров. Свет нам пришлось включить, окна закрыть, а кровососов поодиночке отлавливать пылесосом, тяжелым, еще советских времен. Дедушка держал его, а я перебегал то с дивана на ручки кресел, то с ручек кресел — на диван, балансируя на носках, вооруженный шлангом и трубкой. А после окончания боя мы перебрались на крошечную кухню «чем-нибудь похрустеть». Там, вблизи холодильника, сумрак был холодным, приятным. Небо начало проясняться, и звезды угасали. Мы уселись за небольшой стол в белой потрескавшейся краске, вытащили из холодильника, который из своих недр одарил нас ярким желтым светом, банку соленых арбузов и, хихикая, стали есть. Дедушка мне сказал: «Так здорово, что тебе они тоже нравятся. А то я их один люблю». И у него с носа очки соскальзывали, потому что мы оба жутко вспотели, пока возились с комарами. Я болтал ногами

от радости, сидя на табурете. В тот момент казалось, нет ничего важнее того, что теперь нас таких ценителей деликатесов в семье, а для меня — во всем целом мире, стало двое...

Вернувшись из воспоминаний, я медленно, взвешивая каждое слово, словно и впрямь катал их по свободной ладони, начал свой рассказ, чтобы передать тебе что-то очень важное.

— Мне вот... — Я улыбнулся, приподнимая брови и заглядывая в твое лицо. — Когда хочется подумать о чем-то теплом... — И приостановился, чтобы отвести глаза: я не рассчитал свои силы и не мог говорить об этом, смотря на тебя... — Всегда на ум приходят бабушка с дедушкой. Бабушка, я уверен, была волшебницей. Всего не упомянуть, конечно, — но как пример. Было дело на даче... — Я смотрел немного поверх твоей головы. — Мы шли к пруду. Я там половину своего детства точно провел, — было невозможно рассказывать об этом без улыбки. — Мы шли и ели овсяное печенье. А все имеет свойство заканчиваться...

Ты сделала по-комичному несчастное лицо, перебив.

— Ты шел, ел их и даже не осознавал конечность печенья, как и всего на этом свете, шел и радовался, маленький балбес.

— ...иду я, иду, она спрашивает: «Нет больше?». Я киваю. А она говорит: «Поищи в кармане». Лезу в карман и обнаруживаю там печенье. Или вот еще случай, который меня поразил. Как-то раз сидим мы, и я вдруг говорю, что хотел бы шоколада. Причем белого! Бабушка и глазом не моргнула. Говорит: «Ага, а ты выйди-ка из комнаты и иди направо». Я вышел из комнаты, если честно, на что-либо даже не рассчитывая. Смотрю, а на столе кухни лежит белый шоколад. Бабушка от моего изумления даже не шелохнулась... И много-много еще такого случалось. Я на всю жизнь понял, что она владеет сильной магией.

— Знаешь, что у нее был за дар? Этому есть название... — По тебе, твоим ямочкам на щеках было видно, насколько ты счастлива разгадать секрет моей бабушки. — Любовь.

Я кивнул. Мне было приятно: что-то важное угодило в нужное место, ведь разгадать ее секрет можно было только сердцем.

## ОГРАНИЧЕННОСТЬ

Проблема камня — ограниченность.

От наших я слышал про такие камни, которые могли путешествовать и даже проползали в пустыне целые километры, оставляя за собой заметный след. Конечно, были и те, кто не верил, кто утверждал, мол, это всего лишь легенда. Но это в людях говорила зависть. Зависть к таким камням, что были вольны, как орел — в небе. Лично у меня такой возможности, например, никогда не было.

Мое самое раннее воспоминание связано с появлением собственного сознания, когда я отделился от огромного ядра: оно разбилось о стену крепости (жизнь моя, к сожалению, началась гораздо позже нашей эпохи расцвета). Мной засыпали ров, когда осада закончилась. А позже меня и других использовали, чтобы построить город заново. Местечко мне досталось козырное: я был на самом-самом углу, и вид открывался наилучший — обзор почти на триста шестьдесят градусов, высота трех метров. Я был рассказчиком, я перешептывался с другими, с теми, кто в укреплении находился прямо за мной и остальными. Я и еще сотни таких, уг-

ловых, день и ночь следили за тем, как менялись облака, световой день становился короче, за тем, как он рос снова — и тогда солнце заливалось во все ямки, со временем ставшие домами людей.

Для камня время течет иначе, чем для других. Это досталось нам от предков. Поэтому, когда дома стали разрушаться, я все еще оставался на углу, в стене. Должно быть, много прошло, пока мы не начали откалываться и падать. Все запреты нас трогать не могли остановить процесс, который среди своих звался «из тебя песок уже сыплется» — это когда кто-нибудь совсем стирался в труху. Мы держались друг за друга, но первыми, конечно, разобрали рассказчиков, видевших больше всего веков. Так случилось и со мной — мимо проходил человек. Человек хватя да спрячь меня в карман. В кармане было темно, и только по шороху я различил билет оплаченной экскурсии. С человеком я в первый раз летел на самолете, с ним я впервые увидел свое отражение в зеркале. Я был красноватым и пыльным. В доме человека меня берегли. Но когда случился пожар, меня с собой не забрали, и еще какое-то время я лежал среди углей. Потом пришли другие люди, и угли вымазали их тяжелые ботинки. Кто-то из них оттолкнул меня носком подальше, и с одного бока до первого дождя я оставался черным.

Теперь я мог рассчитывать только на пинки — я скакал по асфальту, невысоко подпрыгивая. Иногда меня бросали — тогда я обязательно угождал по цели, будь то птица или чье-нибудь маленькое плечо. Каждый день был похож на предыдущий. Я обтесался.

Когда меня подобрали и сунули в глубокий карман, где ничего не было видно, я ужасно обрадовался. А потом я полетел. Полетел низко и быстро. Когда меня зашвырнули в пруд, я смог сделать целых четыре лягушки, прежде чем пойти ко дну. Там было много таких, как я. Стоячая вода почти никогда не колебалась, и мы лежали в покое. Если на пруд приземлялись утки и ныряли за прокормом, я выплывал на соседний камень, но все равно неизменно оказывался на своем месте, сползая вниз. Камни, что лежали подо мной, никогда не подавали голоса. Казалось, они погрузились в себя. Те, что лежали рядом, нехотя переговаривались. Говорили о всяком, но никогда о том, о чем думал я: пруд рано или поздно пересохнет, ведь и предки ждали, чтобы подняться из-под воды. Я не терял надежды. Углы сгладились, я измельчал, но моя надежда была, как у самого большого камня на свете.

Когда лед перестал пропускать солнце, затих и я и обратился в слух. Камешек, что был неподалеку, тихо пел. Он был совсем юнцом, что видел немного, и в наш пруд угодил недавно. Песен этот малый знал всего ничего, но те, что знал, пел хорошо. Особенно мне нравилась одна из них. Я мог снова и снова слушать, как он в ледяной воде снова и снова тянет свое:

Сквозь бури и пламень  
Пройдет этот камень  
И станет на место достойно.  
Знакомая чайка помашет крылами,  
И сердце забьется спокойно...

Я слушал, слушал и слушал, пока не запомнил слова наизусть и не понял, что случилось там, наверху.

*Школа иностранных языков «Мариоль»,  
г. Воронеж*